

Оноре
де БАЛЬЗАК

Шагреновая
кожа



Проверено временем

Оноре де Бальзак
Шагреновая кожа

«WebKniga»

1830

УДК 821.133.1-3
ББК 84(4=471.1)

де Бальзак О.

Шагреновая кожа / О. де Бальзак — «WebKniga»,
1830 — (Проверено временем)

ISBN 978-5-00-112046-9

По произведениям Оноре де Бальзака (1799—1850) можно составить исчерпывающее представление об истории и повседневной жизни Франции первой половины XIX века. Но Бальзак не только описал окружающий его мир, он еще и создал свой собственный мир — многотомную «Человеческую комедию». Бальзаковские герои — люди, объятые сильной, всепоглощающей и чаще всего губительной страстью. Их собственные желания оказываются смертельны. В романе «Шагреновая кожа» Бальзак описал эту ситуацию с помощью выразительной метафоры: волшебный талисман исполняет все желания главного героя, но каждое исполненное желание укорачивает срок его жизни. Так же губительна страсть художника к совершенству, описанная в рассказе «Неведомый шедевр». При выпуске классических книг нам, издательству «Время», очень хотелось создать действительно современную серию, показать живую связь неувядающей классики и окружающей действительности. Поэтому мы обратились к известным литераторам, ученым, журналистам и деятелям культуры с просьбой написать к выбранным ими книгам сопроводительные статьи — не сухие пояснительные тексты и не шпаргалки к экзаменам, а своего рода объяснения в любви дорогим их сердцам авторам. У кого-то получилось возвышенно и трогательно, у кого-то посуше и поакадемичней, но это всегда искренне и интересно, а иногда — неожиданно и необычно. В любви к творчеству Оноре де Бальзака признаётся переводчик и историк литературы Вера Мильчина — книгу стоит прочесть уже затем, чтобы сверить своё мнение со статьёй и взглянуть на произведение под другим углом.

УДК 821.133.1-3

ББК 84(4=471.1)

ISBN 978-5-00-112046-9

© де Бальзак О., 1830

© WebKniga, 1830

Содержание

Информация от издательства	6
ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА	7
I. Талисман	7
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Оноре де Бальзак

Шагреновая кожа. Неведомый шедевр

Информация от издательства

Художественное электронное издание

Бальзак, Оноре де

Шагреновая кожа: роман; Неведомый шедевр: рассказ / Оноре де Бальзак; пер. с фр. Бориса Грифцова, Иоанны Брюсовой; сопроводит. статья и примечания Веры Мильчиной. – М.: Время, 2017. – (Проверено временем).

ISBN 978-5-0011-2046-9

По произведениям Оноре де Бальзака (1799–1850) можно составить исчерпывающее представление об истории и повседневной жизни Франции первой половины XIX века. Но Бальзак не только описал окружающий его мир, он еще и создал свой собственный мир – многогранную «Человеческую комедию». Бальзаковские герои – люди, объятые сильной, всепоглощающей и чаще всего губительной страстью. Их собственные желания оказываются смертельны. В романе «Шагреновая кожа» Бальзак описал эту ситуацию с помощью выразительной метафоры: волшебный талисман исполняет все желания главного героя, но каждое исполненное желание укорачивает срок его жизни. Так же губительна страсть художника к совершенству, описанная в рассказе «Неведомый шедевр».

При выпуске классических книг нам, издательству «Время», очень хотелось создать действительно современную серию, показать живую связь неувядающей классики и окружающей действительности. Поэтому мы обратились к известным литераторам, ученым, журналистам и деятелям культуры с просьбой написать к выбранным ими книгам сопроводительные статьи – не сухие пояснительные тексты и не шпаргалки к экзаменам, а своего рода объяснения в любви дорогим их сердцам авторам. У кого-то получилось возвышенно и трогательно, у кого-то посуше и поакадемичней, но это всегда искренне и интересно, а иногда – неожиданно и необычно.

В любви к творчеству Оноре де Бальзака признаётся переводчик и историк литературы Вера Мильчина – книгу стоит прочесть уже затем, чтобы сверить своё мнение со статьёй и взглянуть на произведение под другим углом.

© В. А. Мильчина, сопроводительная статья, примечания, 2017

© Состав, оформление, «Время», 2017

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА

Господину Савари¹,
члену Академии наук.

Стерн²,

«Тристрам

Шенди»,

з.л.



СССХХП

I. Талисман

В конце октября 1829 года один молодой человек вошел в Пале-Руаяль³, как раз к тому времени, когда открываются игорные дома, согласно закону, охраняющему права страсти, подлежащей обложению по самой своей сущности. Не колеблясь, он поднялся по лестнице притона, на котором значился номер «36».

– Не угодно ли вам отдать шляпу? – сурово крикнул ему мертвенно бледный старикашка, который примостился где-то в тени за барьером, а тут вдруг поднялся и выставил напоказ мерзкую свою физиономию.

Когда вы входите в игорный дом, то закон прежде всего отнимает у вас шляпу. Быть может, это своего рода евангельская притча, предупреждение, ниспосланное небом, или, скорее, особый вид адского договора, требующего от нас некоего залога? Быть может, хотят заставить вас относиться с почтением к тем, кто вас обыгрывает? Быть может, полиция, проникающая во все общественные клоаки, желает узнать фамилию вашего шляпника или же вашу собственную, если вы написали ее на подкладке шляпы? А может быть, наконец, намереваются снять мерку с вашего черепа, чтобы потом составить поучительные статистические таблицы умственных способностей игроков? На этот счет администрация хранит полное молчание. Но имейте в виду, что, как только вы делаете первый шаг по направлению к зеленому полю, шляпа вам уже не принадлежит, точно так же, как и сами вы себе не принадлежите: вы во власти игры – и вы сами, и ваше богатство, и ваша шляпа, и трость, и плащ. А при выходе *игра* возвращает вам то, что вы сдали на хранение, – то есть убийственной, овеществленной эпиграммой докажет вам, что кое-что она вам все-таки оставляет. Впрочем, если у вас новый головной убор, тогда урок, смысл которого в том, что игроку следует завести особый костюм, станет вам в копеечку.

Недоумение, изобразившееся на лице молодого человека при получении номерка в обмен на шляпу, поля которой, по счастью, были слегка потерты, указывало на его неопытность; старикашка, вероятно с юных лет погрязший в кипучих наслаждениях азарта, окинул его тусклым, безучастным взглядом, в котором философ различил бы убожество больницы, скитания

¹ Посвящение математику и астроному Феликсу Савари (1797–1841), с которым Бальзак консультировался при написании романа, впервые появилось в 1845 году, когда «Шагреновая кожа» вышла в 14-м томе первого издания «Человеческой комедии», а Савари уже четыре года как не было в живых.

² В романе высоко ценимого Бальзаком английского писателя Лоренса Стерна (1713–1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760–1767) этот рисунок (размещенный, однако, не горизонтально, а вертикально) изображает ту линию, которую концом своей палки описал в воздухе капрал Трим, простодушный слуга дядюшки заглавного героя, Тоби Шенди, произнеся в ходе разговора о женитьбе фразу: «Когда человек свободен...» Бальзак, впрочем, имел в виду не брак, а просто прихотливое действие судьбы, против которой человек бессилён; в то же время столь несерьезный эпиграф должен был, по-видимому, слегка «снизить» трагическую серьезность повествования.

³ Пале-Руаяль – дворец и сад, принадлежавшие герцогам Орлеанским; в зданиях с аркадами, с трех сторон окружавших сад, располагались многочисленные торговые и развлекательные заведения, в том числе самые знаменитые парижские игорные дома; они находились в аркадах 9, 36, 54, 113, 129, 154.

банкротов, вереницу утопленников, бессрочную каторгу, ссылку на Гуасакоалько⁴. Испитое и бескровное его лицо, свидетельствовавшее о том, что питается он теперь исключительно желатинными супами Дарсе⁵, являло собой бледный образ страсти, упрощенной до предела. Глубокие морщины говорили о постоянных мучениях; должно быть, весь свой скудный заработок он проигрывал в день получки. Подобно тем клячам, на которых уже не действуют удары бича, он не вздрогнул бы ни при каких обстоятельствах, он оставался бесчувственным к глухим стонам проигравшихся, к их немым проклятиям, к их отупелым взглядам. То было воплощение *игры*. Если бы молодой человек пригляделся к этому унылому церберу, быть может, он подумал бы: «Ничего, кроме колоды карт, нет в его сердце!» Но он не послушался этого олицетворенного совета, поставленного здесь, разумеется, самим провидением, подобно тому как оно же сообщает нечто отвратительное прихожей любого притона. Он решительными шагами вошел в залу, где звон золота околдовывал и ослеплял душу, объятую алчностью. Вероятно, молодого человека толкала сюда самая логичная из всех красноречивых фраз Жан-Жака Руссо⁶, печальный смысл которой, думается, таков: «Да, я допускаю, что человек может пойти играть, но лишь тогда, когда между собою и смертью он видит лишь свое последнее эю».

По вечерам поэзия игорных домов пошловата, но ей обеспечен успех, так же как и кровавой драме. Залы полнятся зрителями и игроками, неимущими старичками, что приплелись сюда погреться, лицами, взволнованными оргией, которая началась с вина и вот-вот закончится в Сене. Страсть здесь представлена в изобилии, но все же чрезмерное количество актеров мешает вам смотреть демону игры прямо в лицо. По вечерам это настоящий концерт, причем орет вся группа и каждый инструмент оркестра выводит свою фразу. Вы увидите здесь множество почтенных людей, которые пришли сюда за развлечениями и оплачивают их так же, как одни платят за интересный спектакль или за лакомство, а другие, купив по дешевке где-нибудь в мансарде продажные ласки, расплачиваются за них потом целых три месяца жгучими сожалениями. Но поймете ли вы, до какой степени одержим азартом человек, нетерпеливо ожидающий открытия притона? Между игроком вечерним и утренним такая же разница, как между беспечным супругом и любовником, томящимся под окном своей красавицы. Только утром вы встретите в игорном доме трепетную страсть и нужду во всей ее страшной наготе. Вот когда вы можете полюбоваться на настоящего игрока, на игрока, который не ел, не спал, не жил, не думал, – так жестоко истерзан он бичом неудач, уносивших постоянно удваиваемые его ставки, так он исстрадался, измученный зудом нетерпения: когда же, наконец, выпадет «тридцать и сорок»?⁷ В этот проклятый час вы заметите глаза, спокойствие которых пугает, заметите лица, которые вас ужасают, взгляды, которые как будто приподнимают карты и пожирают их.

Итак, игорные дома прекрасны только при начале игры. В Испании есть бой быков. В Риме были гладиаторы, а Париж гордится своим Пале-Руаялем, где раззадоривающая рулетка дает вам насладиться захватывающей картиной, в которой кровь течет потоками и не грозит, однако, замочить ноги зрителей, сидящих в партере. Постарайтесь бросить беглый взгляд на эту арену, войдите!.. Что за убожество! На стенах, оклеенных обоями, засаленными в рост человека, нет ничего, что могло бы освежить душу. Нет даже гвоздя, который облегчил бы самоубийство. Паркет обшаркан, запачкан. Середину зала занимает овальный стол. Он покрыт сукном, истертым золотыми монетами, а вокруг тесно стоят стулья – самые простые стулья с плетеными соломенными сиденьями, и это ясно изобличает странное безразличие к роскоши у людей, которые приходят сюда на свою погибель, ради богатства и роскоши. Подобные про-

⁴ *Гуасакоалько* – река в Мексике; в 1820-е годы Франция предприняла попытку создать колонию на ее берегах.

⁵ Химик Жан-Пьер-Жозеф *Дарсе* (1777–1844) разработал способ получения желатина из костей и пытался добиться с помощью этого изобретения коммерческого успеха.

⁶ ...из всех красноречивых фраз Жан-Жака Руссо... – Неточная цитата из четвертой книги Жан-Жака Руссо «*Эмиль*» (1762); Руссо осуждает азартную игру вообще и ничего не говорит о праве поставить последнее эю.

⁷ «*Тридцать и сорок*» – азартная карточная игра.

творечия обнаруживаются в человеке всякий раз, когда в душе с силой борются страсти. Влюбленный хочет нарядить свою возлюбленную в шелка, облечь ее в мягкие ткани Востока, а чаще всего обладает ею на убогой постели. Честолюбец, мечтая о высшей власти, пресмыкается в грязи раболепства. Торговец дышит сырым, нездоровым воздухом в своей лавчонке, чтобы воздвигнуть обширный особняк, откуда его сын, наследник скороспелого богатства, будет изгнан, проиграв тяжбу против родного брата. Да, наконец, существует ли что-нибудь менее приятное, чем дом наслаждений? Страшное дело! Вечно борясь с самим собой, теряя надежды перед лицом нагрянувших бед и спасаясь от бед надеждами на будущее, человек во всех своих поступках проявляет свойственные ему непоследовательность и слабость. Здесь, на земле, ничто не осуществляется полностью, кроме несчастья.

Когда молодой человек вошел в залу, там было уже несколько игроков. Три плешивых старика, развалясь, сидели вокруг зеленого поля; их лица, похожие на гипсовые маски, бесстрастные, как у дипломатов, изобличали души пресыщенные, сердца, давно уже разучившиеся трепетать даже в том случае, если ставится на карту неприкосновенное имение жены. Молодой черноволосый итальянец, с оливковым цветом лица, спокойно облокотился на край стола и, казалось, прислушивался к тем тайным предчувствиям, которые кричат игроку роковые слова: «Да! – Нет!» От этого южного лица веяло золотом и огнем. Семь или восемь зрителей стояли, выстроившись в ряд, как на галерке, и ожидали представления, которое им сулила прихоть судьбы, лица актеров, передвижение денег и лопаточек. Эти праздные люди были молчаливы, неподвижны, внимательны, как толпа, собравшаяся на Гревской площади, когда палач отрубает кому-нибудь голову. Высокий худой господин в потертом фраке держал в одной руке записную книжку, а в другой – булавку, намереваясь отмечать, сколько раз выпадет красное и черное. То был один из современных Танталов, живущих в стороне от наслаждений своего века, один из скупцов, играющих на воображаемую ставку, нечто вроде рассудительного сумасшедшего, который в дни бедствий тешит себя несбыточной мечтой, который обращается с пороком и опасностью так же, как молодые священники – с причастием, когда служат раннюю обедню. Напротив игрока поместились пройдохи, изучившие все шансы игры, похожие на бывалых каторжников, которых не испугаешь галерами, явившиеся сюда, чтобы рискнуть тремя ставками и в случае выигрыша, составлявшего единственную статью их дохода, сейчас же уйти. Два старых лакея равнодушно ходили взад и вперед, скрестив руки, и по временам поглядывали из окон в сад, точно для того, чтобы вместо вывески показать прохожим плоские свои лица. Кассир и банкомет только что бросили на понтеров тусклый, убийственный взгляд и сдавленным голосом произнесли: «Ставьте!», когда молодой человек отворил дверь. Молчание стало словно еще глубже, головы с любопытством повернулись к новому посетителю. Неслыханное дело! При появлении незнакомца отупевшие старики, окаменелые лакеи, зрители, даже фанатик-итальянец – решительно все испытали какое-то ужасное чувство. Надо быть очень несчастным, чтобы возбудить жалость, очень слабым, чтобы вызвать симпатию, очень мрачным с виду, чтобы дрогнули сердца в этой зале, где скорбь всегда молчалива, где горе весело и отчаяние благопристойно. Так вот именно все эти свойства и породили то новое ощущение, которое расшевелило оледеневшие души, когда вошел молодой человек. Но разве палачи не роняли порою слез на белокурые девичьи головы, которые они должны были отсечь по сигналу, данному Революцией?

С первого же взгляда игроки прочли на лице новичка какую-то страшную тайну; в его тонких чертах сквозила грустная мысль, выражение юного лица свидетельствовало о тщетных усилиях, о тысяче обманутых надежд! Мрачная бесстрастность самоубийцы легла на его чело матовой и болезненной бледностью, в углах рта легкими складками обрисовалась горькая улыбка, и все лицо выражало такую покорность, что на него было больно смотреть. Некая скрытая гениальность сверкала в глубине этих глаз, затуманенных, быть может, усталостью от наслаждений. Не разгул ли отметил нечистым своим клеймом это благородное лицо, прежде

чистое и сияющее, а теперь уже помятое? Доктора, вероятно, приписали бы этот лихорадочный румянец и темные круги под глазами пороку сердца или грудной болезни, тогда как поэты пожелали бы увидеть в этих знаках приметы самозабвенного служения науке, следы бессонных ночей, проведенных при свете рабочей лампы. Но страсть более смертоносная, чем болезнь, и болезнь более безжалостная, чем умственный труд и гениальность, искажали черты этого молодого лица, сокращали эти подвижные мускулы, утомляли сердце, которого едва лишь коснулись оргии, труд и болезнь. Когда на каторге появляется знаменитый преступник, заключенные встречают его почтительно, – так и в этом притоне демоны в образе человеческого, испытанные в страданиях, приветствовали неслыханную скорбь, глубокую рану которой измерял их взор; по величию молчаливой иронии незнакомца, по нищенской изысканности его одежды они признали в нем одного из своих владык. На молодом человеке был отличный фрак, но галстук слишком вплотную прилегал к жилету, так что едва ли под ним имелось белье. Его руки, изящные, как у женщины, были сомнительной чистоты, – ведь он уже два дня ходил без перчаток. Если банкомет и даже лакеи вздрогнули, так это оттого, что очарование невинности еще цвело в хрупком и стройном его теле, в волосах, белокурых и редких, вьющихся от природы. Судя по чертам лица, ему было лет двадцать пять, а порочность его казалась случайной. Свежесть юности еще сопротивлялась опустошениям неутоленного сладострастия. Во всем его существе боролись мрак и свет, небытие и жизнь, и, может быть, именно поэтому он производил впечатление чего-то обаятельного и вместе с тем ужасного. Молодой человек появился здесь, словно ангел, лишенный сияния, сбившийся с пути. И все эти заслуженные наставники в порочных и позорных страстях почувствовали к нему сострадание – подобно беззубой старухе, проникшейся жалостью к красавице девушке, которая вступила на путь разврата, – и готовы были крикнуть новичку: «Уйдите отсюда!» А он прошел прямо к столу, остановился, не задумываясь, бросил на сукно золотую монету, и она покатила на *черное*: потом, как все сильные люди, презирающие скряжническую нерешительность, он взглянул на банкютера вызывающе и вместе с тем спокойно. Ход этот возбудил такой интерес, что старики ставки не сделали; однако итальянец с фанатизмом страсти ухватился за увлекавшую его мысль и поставил все свое золото против ставки незнакомца. Кассир забыл произнести обычные фразы, которые с течением времени превратились у него в хриплый и невнятный крик: «Ставьте!» – «Ставка принята!» – «Больше не принимаю!» Банкютер снял карты, и, казалось, даже он, автомат, безучастный к проигрышу и выигрышу, устроитель этих мрачных увеселений, желал новичку успеха. Зрители все как один готовы были видеть развязку драмы в судьбе этой золотой монеты, последнюю сцену благородной жизни; их глаза, прикованные к роковым листкам картона, горели, но, несмотря на все внимание, с которым они следили то за молодым человеком, то за картами, они не могли заметить и признака волнения на его холодном и покорном лице.

– Красная, черная, пас, – официальным тоном объявил банкютер.

Что-то вроде глухого хрипа вырвалось из груди итальянца, когда он увидел, как один за другим падают на сукно сложенные банковые билеты, которые ему бросал кассир. А молодой человек только тогда постиг свою гибель, когда лопаточка протянулась за его последним наполеондором. Слоновая кость тихо стукнулась о монету, и золотой с быстротою стрелы достиг до кучки золота, лежавшего перед кассой. Незнакомец медленно опустил веки, губы его побелели, но он тут же открыл глаза снова; точно кораллы заалели его губы, он стал похож на англичанина, для которого в жизни не существует тайн, и исчез, не пожелав вымалывать себе сочувствие тем душераздирающим взглядом, который часто бросают на зрителей игроки, впавшие в отчаяние. Сколько событий произошло на протяжении одной секунды, и как иногда много значит один удар игральных костей!

– Это был, конечно, последний его заряд, – сказал, улыбнувшись, крупье после минутного молчания и, держа золотую монету двумя пальцами, показал ее присутствующим.

– Шальная голова! Он, чего доброго, бросится в реку, – отозвался один из завсегдатаев, оглядев игроков, которые все были знакомы между собой.

– Да уж! – воскликнул лакей, беря щепотку табаку.

– Вот нам бы последовать примеру этого господина! – сказал старик своим товарищам, показывая на итальянца.

Все оглянулись на счастливого игрока, который дрожащими руками пересчитывал банковые билеты.

– Какой-то голос, – сказал он, – шептал мне на ухо: «Расчетливая игра одержит верх над отчаянием молодого человека».

– Разве это игрок? – вставил кассир. – Игрок разделит бы свои деньги на три ставки, чтобы увеличить шансы.

Проигравшийся незнакомец, уходя, позабыл о шляпе, но старый сторожевой пес, заметивший жалкое ее состояние, молча подал ему это отрепье; молодой человек машинально возвратил номерок и спустился по лестнице, насвистывая «*Di tanti palpiti*»⁸ так тихо, что сам едва мог слышать эту чудесную мелодию.

Вскоре он очутился под аркадами Пале-Руаяля, прошел до улицы Сент-Оноре и, свернув в сад Тюильри, нерешительным шагом пересек его. Он шел точно в пустыне; его толкали встречные, но он их не видел; сквозь уличный шум он слышал один только голос – голос смерти; он оцепенел, погрузившись в раздумье, похожее на то, в какое впадают преступники, когда их везут от Дворца правосудия на Гревскую площадь, к эшафоту, красному от крови, что лилась на него с 1793 года.

Есть что-то великое и ужасное в самоубийстве. Для большинства людей падение не страшно, как для детей, которые падают с такой малой высоты, что не ушибаются, но когда разбился великий человек, то это значит, что он упал с большой высоты, что он поднялся до небес и узрел некий недоступный рай. Беспощадными должны быть те ураганы, что заставляют просить душевного покоя у пистолетного дула. Сколько молодых талантов, загнанных в мансарду, затерянных среди миллиона живых существ, чахнет и гибнет перед лицом скучающей, уставшей от золота толпы, потому что нет у них друга, нет близ них женщины-утешительницы! Стоит только над этим призадуматься – и самоубийство предстанет перед нами во всем своем гигантском значении. Один бог знает, сколько замыслов, сколько недописанных поэтических произведений, сколько отчаяния и сдавленных криков, бесплодных попыток и недоношенных шедевров теснятся между самовольною смертью и животворной надеждой, когда-то призвавшей молодого человека в Париж! Всякое самоубийство – это возвышенная поэма меланхолии. Всплывет ли в океане литературы книга, которая по своей волнующей силе могла бы соперничать с такою газетной заметкой:

«Вчера, в четыре часа дня, молодая женщина бросилась в Сену с моста Искусств»?

Перед этим парижским лаконизмом все бледнеет – драмы, романы, даже старинное заглавие: «Плач славного короля Карнаванского, заточенного в темницу своими детьми», – единственный фрагмент затерянной книги, над которым плакал Стерн⁹, сам бросивший жену и детей...

Незнакомца осаждали тысячи подобных мыслей, обрывками проносясь в его голове, подобно тому как разорванные знамена развеваются во время битвы. На краткий миг он сбрасывал с себя бремя дум и воспоминаний, останавливаясь перед цветами, головки которых слабо колыхал среди зелени ветер; затем, ощутив в себе трепет жизни, все еще борющейся с тягостною мыслью о самоубийстве, он поднимал глаза к небу, но нависшие серые тучи,

⁸ *Di tanti palpiti* – «После стольких тревог» (итал.), ария из оперы Дж. Россини «Танкред».

⁹ ...над которым плакал Стерн... – Упоминаемый эпизод почерпнут из приписываемых Стерну «Мемуаров»; Бальзак часто цитировал их в своих ранних произведениях. Стерн не бросал жену и единственную дочь, хотя в самом деле был несчастлив в семейной жизни.

тоскливые завывания ветра и промозглая осенняя сырость внушали ему желание умереть. Он подошел к Королевскому мосту, думая о последних прихотях своих предшественников. Он улыбнулся, вспомнив, что лорд Каслри, прежде чем перерезать себе горло, удовлетворил низменнейшую из наших потребностей¹⁰ и что академик Оже, идя на смерть, стал искать табакерку, чтобы взять понюшку. Он пытался разобраться в этих странностях, вопрошал сам себя, как вдруг, прижавшись к парапету моста, чтобы дать дорогу рыночному носильщику, который все же запачкал рукав его фрака чем-то белым, он сам себя поймал на том, что тщательно стряхивает пыль. Дойдя до середины моста, он мрачно посмотрел на воду.

– Не такая погода, чтобы топиться, – с усмешкой сказала ему одетая в лохмотья старуха. – Сена грязная, холодная!..

Он ответил ей простодушной улыбкой, выразившей всю безумную его решимость, но внезапно вздрогнул, увидав вдали, на Тюильрийской пристани, барак с вывеской, на которой огромными буквами было написано: *Спасение утопающих*. Перед мысленным его взором вдруг предстал г-н Даше во всеоружии своей филантропии¹¹, приводя в движение добродетельные весла, коими разбивают головы утопленникам, если они, на свою беду, покажутся из воды; он видел, как г-н Даше собирал вокруг себя зевак; выискивал доктора, готовил окуриванье; он читал соболезнования, составленные журналистами в промежутках между веселой пирушкой и встречей с улыбчивой танцовщицей; он слышал, как звенят экую, отсчитываемые префектом полиции лодочникам в награду за его труп. Мертвый, он стоит пятьдесят франков, но живой – он всего лишь талантливый человек, у которого нет ни покровителей, ни друзей, ни соломенного тюфяка, ни навеса, чтобы укрыться от дождя, – настоящий социальный нуль, бесполезный государству, которое, впрочем, и не заботилось о нем нисколько. Смерть среди бела дня показалась ему отвратительной, он решил умереть ночью, чтобы оставить обществу, презревшему величие его души, неопознанный труп. И вот с видом беспечного гуляки, которому нужно убить время, он пошел дальше по направлению к набережной Вольтера. Когда он спустился по ступенькам, которыми оканчивается мост, на углу набережной его внимание привлекли старые книги, разложенные на парапете, и он чуть было не прицелился к ним. Но тут же посмеялся над собой, философски засунул руки в жилетные карманы и снова двинулся беззаботной своей походкой, в которой чувствовалось холодное презрение, как вдруг с изумлением услышал поистине фантастическое звяканье монет у себя в кармане. Улыбка надежды озарила его лицо, скользнув по губам, она облетела все его черты, его лоб, зажгла радостью глаза и потемневшие щеки. Этот проблеск счастья был похож на огоньки, которые пробегают по остаткам сторевшей бумаги; но его лицо постигла судьба черного пепла – оно опять стало печальным, как только он, быстро вытащив руку из кармана, увидел три монеты по два су¹².

– Добрый господин, *la carità! La carità Catarina!*¹³ Хотя одно су на хлеб!

Мальчишка-трубочист с черным одутловатым лицом, весь в саже, одетый в лохмотья, протянул руку к этому человеку, чтобы выпросить у него последний грош.

Стоявший в двух шагах от маленького савояра старый нищий, робкий, болезненный, истрадавшийся, в жалком тряпье, сказал грубым и глухим голосом:

– Сударь, подайте сколько можете, буду за вас Бога молить...

¹⁰ Английский дипломат *лорд Каслри* перерезал себе горло в 1822 году в припадке безумия; литератор Луи-Симон Оже, непреременный секретарь Французской академии, страдавший неизлечимой болезнью, утопился в Сене в начале 1829 года.

¹¹ *Даше* руководил в Париже спасением утопающих.

¹² ...*три монеты по два су*. – Су – старинная французская монета; в XIX веке она уже не была в употреблении, но французы по старинке использовали ее для счета; поскольку одно су равнялось пяти сантимам, то, значит, у героя были в кармане три монеты по десять сантимов – сумма ничтожная.

¹³ ...*la carità! La carità Catarina!* – Подайте милостыню! Ради святой Екатерины! (итал.)

Но когда молодой человек взглянул на старика, тот замолчал и больше уже не просил, – быть может, на мертвенном этом лице он заметил признаки нужды более острой, чем его собственная.

– La carità! La carità!

Незнакомец бросил мелочь мальчишке и старику и сошел с тротуара набережной, чтобы продолжать путь вдоль домов: он больше не мог выносить душераздирающий вид Сены.

– Дай вам Бог здоровья, – сказали оба нищих.

Подходя к магазину эстампов, этот полумертвец увидел, как из роскошного экипажа выходит молодая женщина. Он залюбовался очаровательной особой, беленькое личико которой красиво окаймлял атлас нарядной шляпы. Его пленил стройный ее стан, грациозные движения. Спускаясь с подножки, она слегка приподняла платье, и видна была ее нога, тонкие контуры которой отлично обрисовывал белый, туго натянутый чулок. Молодая женщина вошла в магазин и занялась покупкой альбомов, коллекций литографий; она заплатила несколько золотых, они блеснули и звякнули на конторке. Молодой человек, прикинувшись, что рассматривает выставленные у входа гравюры, устремил на прекрасную незнакомку самый пронизывающий взгляд, какой только способен бросить мужчина, и ответом ему был тот беззаботный взор, которым случайно окидывают прохожих. С его стороны то было прощание с любовью, с женщиной! Но этот последний, страстный призыв не был понят, не взволновал сердца легкомысленной женщины, не заставил ее ни покраснеть, ни опустить глаза. Что он для нее значил? Еще один восхищенный взгляд, еще одно возбужденное ею желание, и вечером она самодовольно скажет: «Сегодня я была премиленькой». Молодой человек отошел к другому окну и не обернулся, когда незнакомка садилась в экипаж. Лошади тронули, и этот последний образ роскоши и изящества померк, как должна была померкнуть и его жизнь. Он пошел вялой походкой вдоль магазинов, без особого интереса рассматривая образцы товаров в витринах. Когда кончились лавки, он стал разглядывать Лувр, Академию, башни собора Богоматери, башни Дворца правосудия, мост Искусств. Все эти сооружения, казалось, принимали унылый вид, отражая серые тона неба, бледные просветы между туч, которые придавали какой-то гневный облик Парижу, подверженному, подобно хорошенькой женщине, необъяснимо капризным сменам уродства и красоты. Сама природа как будто задумала привести умирающего в состояние скорбного экстаза. Весь во власти тлетворной силы, чье расслабляющее действие находит себе посредника во флюидах, пробегающих по нашим нервам, он чувствовал, что его организм неприметно становится как бы текучим. Муки этой агонии сообщили всему волнообразное движение: людей, здания он видел сквозь туман, где все колыхалось. Ему хотелось избавиться от раздражающего воздействия мира физического, и он направился к лавке древностей, чтобы дать пищу своим чувствам или хотя бы дождаться там ночи, прицениваясь к произведениям искусства. Так, идя на эшафот, преступник старается собраться с духом и, не доверяя своим силам, спрашивает чего-нибудь подкрепляющего; однако сознание близкой смерти на мгновение вернуло молодому человеку самоуверенность герцогини, имеющей двух любовников, и он вошел в лавку редкостей с видом независимым, с той застывшей улыбкой на устах, какая бывает у пьяниц. Да и не был ли он пьян от жизни или, быть может, от близкой смерти? Вскоре у него опять началось головокружение, и все вдруг показалось ему окрашенным в странные цвета и одушевленным легким движением. Несомненно, это объяснялось неправильным обращением крови, то бурлившей в его жилах, как водопад, то струившейся спокойно и вяло, как тепловатая вода. Он заявил, что желает осмотреть залы и поискать, не найдется ли там каких-нибудь редкостей на его вкус. Молодой рыжеволосый приказчик с полными румяными щеками, в картузе из выдры поручил присмотреть за лавкой старухе крестьянке, своего рода Калибану¹⁴ женского пола,

¹⁴ *Калибан* – получеловек-полуживотное, персонаж пьесы Шекспира «Буря».

занятой чисткой изразцовой печи, настоящего чуда искусства, порожденного гением Бернара Палисси¹⁵; затем он сказал незнакомцу небрежным тоном:

– Взгляните, сударь, взгляните! Внизу у нас только вещи заурядные, но потрудитесь подняться наверх, и я покажу вам прекраснейшие мумии из Каира, вазы с инкрустациями, резное черное дерево – подлинный Ренессанс, все только что получено, высшего качества.

Незнакомец находился в таком ужасном состоянии, что болтовня его чичероне, эти глупо-торгашеские фразы были ему противны, как мелочные приставания, которыми умы ограниченные убивают человека гениального; однако, решив нести свой крест до конца, он делал вид, что слушает проводника, и отвечал ему жестами или односложными словами; но постепенно он отвоевал себе право идти молча и безбоязненно отдался последним своим размышлениям, которые были ужасны. Он был поэтом, и душа его случайно нашла себе обильную пищу: ему предстояло еще при жизни увидеть прах двадцати миров.

На первый взгляд залы магазина являли собой беспорядочную картину, в которой теснились все творения, божеские и человеческие. Чучела крокодилов, боа, обезьян улыбались церковным витражам, как бы порывались укусить мраморные бюсты, погнаться за лакированными вещицами, вскарабкаться на люстры. Севрская ваза, на которой г-жа Жакото изобразила Наполеона, находилась рядом со сфинксом, посвященным Сезострису. Начало мира и вчерашние события сочетались здесь причудливо благодушно. Кухонный вертел лежал на ковчежце для мошей, республиканская сабля – на средневековой пищали. Г-жа Дюбарри¹⁶ с пастели Латура, со звездой на голове, нагая и окруженная облаками, казалось, с жадным любопытством рассматривала индийский чубук и старалась угадать назначение его спиралей, змеившихся по направлению к ней. Орудия смерти – кинжалы, диковинные пистолеты, оружие с секретным затвором – чередовались с предметами житейского обихода: фарфоровыми мисками, саксонскими тарелками, прозрачными китайскими чашками, античными солонками, средневековыми коробочками для сладостей. Корабль из слоновой кости на всех парусах плыл по спине неподвижной черепахи. Пневматическая машина лезла в самый глаз императору Августу, сохранявшему царственное бесстрашие. Несколько портретов французских купеческих старшин и голландских бургомистров, столь же бесчувственных теперь, как и при жизни, возвышались над этим хаосом древности, бросая на него тусклые и холодные взгляды. Все страны, казалось, принесли сюда какой-нибудь обломок своих знаний, образчик своих искусств. То было подобие философской мусорной свалки, где ни в чем не было недостатка – ни в трубке мира дикаря, ни в зеленой с золотом туфельке из сераля, ни в мавританском ятагане, ни в татарском идоле. Здесь было все, вплоть до солдатского кисета, вплоть до церковной дароносицы, вплоть до плюмажа, некогда украшавшего балдахин какого-то трона. А благодаря множеству причудливых бликов, возникавших из смешения оттенков, из резкого контраста света и тени, эту чудовищную картину оживляли тысячи разнообразнейших световых явлений. Ухо, казалось, слышало прерванные крики, ум улавливал неоконченные драмы, глаз различал не вполне угасшие огни. Вдобавок на все эти предметы набросила свой легкий покров неистребимая пыль, что придавало их углам и разнообразным изгибам необычайно живописный вид.

Эти три залы, где теснились обломки цивилизации и культов, божества, шедевры искусства, памятники былых царств, разгула, здравого смысла и безумия, незнакомец сравнил сперва с многогранным зеркалом, каждая грань которого отображает целый мир. Получив это общее, туманное впечатление, он захотел сосредоточиться на чем-нибудь приятном, но, рассматривая все вокруг, размышляя, мечтая, подпал под власть лихорадки, которую вызвал, быть может, голод, терзавший ему внутренности. Мысли о судьбе целых народов и отдельных личностей, засвидетельствованной пережившими их трудами человеческих рук, погрузили молодого чело-

¹⁵ *Бернар Палисси* (ок. 1510–1589) – французский керамист, ученый и писатель.

¹⁶ *Г-жа Дюбарри* (1743–1793) – фаворитка короля Людовика XV.

века в дремотное оцепенение; желание, которое привело его в эту лавку, исполнилось: он нашел выход из реальной жизни, поднялся по ступенькам в мир идеальный, достиг волшебных дворцов экстаза, где вселенная явилась ему в осколках и отблесках, как некогда перед очами апостола Иоанна на Патмосе пронеслось, пылая, грядущее.

Множество образов, страдальческих, грациозных и страшных, темных и сияющих, отдаленных и близких, встало перед ним толпами, мириадами, поколениями. Окостеневший, таинственный Египет поднялся из песков в виде мумии, обвитой черными пеленами, за ней последовали фараоны, погребавшие целые народы, чтобы построить себе гробницу, и Моисей, и евреи, и пустыня, – он прозревал мир древний и торжественный. Свежая и пленительная мраморная статуя на витой колонне, блистая белизной, говорила ему о сладострастных мифах Греции и Ионии. Ах, кто бы на его месте не улыбнулся, увидев на красном фоне глиняной, тонкой лепки этрусской вазы юную смуглую девушку, пляшущую перед богом Приапом, которого она радостно приветствовала? А рядом латинская царица нежно ласкала химеру! Всеми причудами императорского Рима веяло здесь, вызывая в воображении ванну, ложе, туалет беспечной, мечтательной Юлии¹⁷, ожидающей своего Тибулла. Голова Цицерона, обладавшая силой арабских талисманов, приводила на память свободный Рим и раскрывала перед молодым пришельцем страницы Тита Ливия. Он созерцал: «*Senatus populusque romanus*»¹⁸; консул, ликторы, тоги, окаймленные пурпуром, борьба на форуме, разгневанный народ – все мелькало перед ним, как туманные видения сна. Наконец, Рим христианский одержал верх над этими образами. Живопись отверзла небеса, и он узрел Деву Марию, парящую в золотом облаке среди ангелов, затмевающую свет солнца; она, эта возрожденная Ева, выслушивала жалобы несчастных и кротко им улыбалась. Когда он коснулся мозаики, сложенной из кусочков лавы Везувия и Этны, его душа перенеслась в жаркую и золотистую Италию; он присутствовал на оргиях Борджа, скитался по Аbruцским горам, жаждал любви итальянок, проникался страстью к бледным лицам с удлинненными черными глазами. При виде средневекового кинжала с узорной рукоятью, которая была изящна, как кружево, и покрыта ржавчиной, похожей на следы крови, он с трепетом угадывал развязку ночного приключения, прерванного холодным клинком мужа. Индия с ее религиями оживала в буддийском идоле, одетом в золото и шелк, с остроконечным головным убором, состоявшим из ромбов и украшенным колокольчиками. Возле этого божка была разостлана циновка, все еще пахнувшая сандалом, красивая, как та баядерка, что некогда возлежала на ней. Китайское чудовище с раскосыми глазами, искривленным ртом и неестественно изогнутым телом волновало душу зрителя фантастическими вымыслами народа, который, устав от красоты, всегда единой, находит несказанное удовольствие в многообразии безобразного. При виде солонки, вышедшей из мастерской Бенвенуто Челлини, он перенесся в прославленные века Ренессанса, когда процветали искусства и распущенность, когда государи развлекались пытками, когда указы, предписывавшие целомудрие простым священникам, исходили от князей церкви, покоившихся в объятиях куртизанок. Камея привела ему на память победы Александра, аркебуза с фитилем – бойни Писарро¹⁹, а наверхие шлема – религиозные войны, неистовые, кипучие, жестокие. Потом радостные образы рыцарских времен ключом забили из миланских доспехов с превосходной насечкой и полировкой, а сквозь забрало все еще блестели глаза паладина.

Вокруг был целый океан вещей, измышлений, мод, творений искусства, руин, слагавший для него бесконечную поэму. Формы, краски, мысли – все оживало здесь, но ничего законченного душе не открывалось. Поэт должен был завершить набросок великого живописца, кото-

¹⁷ Имя *Юлии* употреблено Бальзаком ошибочно; адресата любовной лирики римского поэта *Тибулла* (54–19 до н. э.) звали Делией.

¹⁸ *Senatus populusque romanus* – «Сенат и граждане Рима», надпись, которую в Древнем Риме изображали на штандартах легионов и на памятниках архитектуры, в частности, на триумфальных арках.

¹⁹ Франсиско *Писарро* (1470/75–1541) – испанский конкистадор, участвовавший в завоевании Панамы и Перу.

рый приготовил огромную палитру и со щедрой небрежностью смешал на ней неисчислимые случайности человеческой жизни. Овладев целым миром, закончив обозрение стран, веков, царств, молодой человек вернулся к индивидуумам. Он стал перевоплощаться в них, овладевал частностями, обособляясь от жизни наций, которая подавляет нас своей огромностью.

Вон там дремал восковой ребенок, уцелевший от музея Руйша²⁰, и это прелестное создание напомнило ему о радостях юных лет. Когда он смотрел на волшебный девичий передник какой-то гаитянки, пылкое его воображение рисовало ему картины простой, естественной жизни, чистую наготу истинного целомудрия, наслаждения лени, столь свойственной человеку, безмятежное существование на берегу прохладного задумчивого ручья, под банановым деревом, которое даром кормит человека сладкой своей манной. Но внезапно, вдохновленный перламутровыми отливами бесчисленного множества раковин, воодушевленный видом звездчатых кораллов, еще пахнувших морской травой, водорослями и атлантическими бурями, он становился корсаром и облекался в грозную поэзию, запечатленную образом Лары²¹. Затем, восхищаясь изящными миниатюрами, лазоревыми золотыми арабесками, которыми был разукрашен драгоценный рукописный требник, он забывал про морские бури. Ласково убаюкиваемый мирными размышлениями, он стремился вернуться к умственному труду, к науке, мечтал о сытой монашеской жизни, беспечальной и безрадостной, ложился спать в келье и глядел в стрельчатое ее окно на монастырские луга, леса и виноградники. Перед полотном Тенирса он накидывал на себя солдатский кафтан или же лохмотья рабочего; ему хотелось надеть на голову засаленный и прокуренный колпак фламандцев, он хмелел от выпитого пива, играл с ними в карты и улыбался румяной, соблазнительно дебелий крестьянке. Он дрожал от стужи, видя, как падает снег на картине Мьериса, сражался, смотря на битву Сальватора Розы. Он любовался иллинойским томагавком и чувствовал, как ирокезский нож сдирает с него скальп. Увидев чудесную лютню, он вручал ее владелице замка, упивался сладкозвучным романсом, объяснялся прекрасной даме в любви у готического камина, и вечерние сумерки скрывали ее ответный взгляд. Он ловил все радости, постигал все скорби, овладевал всеми формулами бытия и столь щедро расточал свою жизнь и чувства перед этими призраками природы, перед этими пустыми образами, что стук собственных шагов отдавался в его душе, точно отзвук другого, далекого мира, подобно тому как шум Парижа доносится на башни собора Богоматери.

Подымаясь по внутренней лестнице, которая вела в залы второго этажа, он заметил, что на каждой ступеньке стоят или висят на стене вотивные щиты²², доспехи, оружие, дарохранительницы, украшенные скульптурой, деревянные статуи. Преследуемый самыми странными фигурами, чудесными созданиями, возникшими перед ним на грани смерти и жизни, он шел среди очарований грез. Усомнившись наконец в собственном своем существовании, он сам уподобился этим диковинным предметам, как будто став не вполне умершим и не вполне живым. Когда он вошел в новые залы, начинало смеркаться, но казалось, что свет и не нужен для сверкающих золотом и серебром сокровищ, сваленных там горами. Самые дорогие причуды расточителей, промотавших миллионы и умерших в мансардах, были представлены на этом обширном торжище человеческих безумств. Чернильница, которая обошлась в сто тысяч франков, а потом была продана за сто су, лежала возле замка с секретом, стоимости которого было бы некогда достаточно для выкупа короля из плена. Род человеческий являлся здесь во всей пышности своей нищеты, во всей славе своей гигантской мелочности. Стол черного дерева, достойный поклонения художника, резанный по рисункам Жана Гужона, стоивший когда-то нескольких лет работы, был, возможно, приобретен по цене осиновых дров. Драгоценные шкатулки, мебель, сделанная руками фей, – все набито было сюда как попало.

²⁰ Фредерик Руйш (1638–1731) – голландский анатом и бальзамировщик.

²¹ Корсар и Лара – бунтари, герои одноименных «восточных» поэм Байрона (обе 1814).

²² Вотивные щиты вешались в римских храмах в благодарность богам по случаю одержанных побед.

– Да у вас тут миллионы! – воскликнул молодой человек, дойдя до комнаты, завершавшей длинную анфиладу зал, которые художники минувшего века разукрасили золотом и скульптурами.

– Вернее, миллиарды, – заметил таинственный приказчик. – Но это еще что, поднимитесь на четвертый этаж, вот там вы увидите!

Незнакомец последовал за своим проводником, достиг четвертой галереи, и там перед его усталыми глазами поочередно прошли картины Пуссена, изумительная статуя Микеланджело, прелестные пейзажи Клода Лоррена, картина Герарда Доу, подобная странице Стерна, полотна Рембрандта, Мурильо, Веласкеса, мрачные и яркие, как поэма Байрона; далее – античные барельефы, агатовые чаши, великолепные ониксы... Словом, то были работы, способные внушить отвращение к труду, нагромождение шедевров, могущее возбудить ненависть к искусствам и убить энтузиазм. Он дошел до «Девы» Рафаэля, но Рафаэль ему надоел, и голова кисти Корреджо, просившая внимания, так и не добила его. Бесценная античная ваза из порфира, рельефы которой изображали самую причудливую в своей вольности римскую приапею, отрада какой-нибудь Коринны, не вызвала у него ничего, кроме беглой улыбки. Он задыхался под обломками пятидесяти исчезнувших веков, чувствовал себя больным от всех этих человеческих мыслей; он был истерзан роскошью и искусствами, подавлен этими воскресающими формами, которые, как некие чудовища, возникающие у него под ногами по воле злого гения, вызывали его на нескончаемый поединок.

Похожая своими прихотями на современную химию, которая сводит все существующее к газу, не вырабатывает ли человеческая душа ужасные яды, мгновенно сосредоточивая в себе все свои радости, идеи и силы? И не оттого ли гибнет множество людей, что их убивают своего рода духовные кислоты, внезапно отравляющие все их существо?

– Что в этом ящике? – спросил молодой человек, войдя в просторный кабинет – последнее скопище боевой славы, человеческих усилий, причуд, богатств, – и указал рукой на большой четырехугольный ящик красного дерева, подвешенный на серебряной цепи.

– О, ключ от него у хозяина! – с таинственным видом сказал толстый приказчик. – Если вам угодно видеть эту картину, я осмелюсь побеспокоить хозяина.

– Осмелитесь?! – удивился молодой человек. – Разве ваш хозяин какой-нибудь князь?

– Да я, право, не знаю, – отвечал приказчик.

Минуту смотрели они друг на друга, оба удивленные в равной мере. Затем, сочтя молчание незнакомца за пожелание, приказчик оставил его одного в кабинете.

Пускались ли вы когда-нибудь в бесконечность пространства и времени, читая геологические сочинения Кювье? Уносимые его гением, парили ли вы над бездонной пропастью минувшего, точно поддерживаемые рукой волшебника? Когда в различных разрезах и различных слоях, в монмартрских каменоломнях и в уральском сланце обнаруживаются ископаемые, чьи останки относятся ко временам допотопным, душа испытывает страх, ибо перед ней приоткрываются миллиарды лет, миллионы народов, не только исчезнувших из слабой памяти человечества, но забытых даже нерушимым божественным преданием, и лишь прах минувшего, скопившийся на поверхности земного шара, образует почву в два фута глубиной, дающую нам цветы и хлеб. Разве Кювье не величайший поэт нашего века? Лорд Байрон словами воспроизвел волнения души, но бессмертный наш естествоиспытатель воссоздал миры при помощи выбеленных временем костей²³; подобно Кадму, он отстроил города при помощи зубов, он вновь населил тысячи лесов всеми чудовищами зоологии благодаря нескольким кускам камен-

²³ ...воссоздал миры при помощи... костей... – Бальзак имеет в виду самое знаменитое открытие естествоиспытателя Жоржа Кювье (1769–1832) – принцип «корреляции органов», на основе которого он мог по одной или нескольким костям полностью реконструировать строение вымерших животных. На этом основании Бальзак сравнивает Кювье с героем греческой мифологии *Кадмом*: тот убил дракона и засеял поле его зубами, из которых выросли вооруженные люди; они тотчас перебили друг друга, за исключением пятерых, которые выстроили город Фивы и стали родоначальниками его знатнейших родов.

ного угля; восстановил поколения гигантов по одной лишь ноге мамонта. Образы встают, растут и в соответствии с исполинским своим ростом меняют вид целых областей. В своих цифрах он поэт; он великолепен, когда к семи приставляет нуль. Не произнося искусственных магических слов, он воскрешает небытие; он откапывает частицу гипса, замечает на ней отпечаток и восклицает: «Смотрите!» Мрамор становится вдруг животным, смерть – жизнью, открывается целый мир! После неисчислимых династий гигантских созданий, после рыбьих племен и моллюсковых кланов появляется наконец род человеческий, выродок грандиозного типа, сраженного, быть может, Создателем. Воодушевленные мыслью ученого, перед которым воскрешает прошлое, эти жалкие люди, рожденные вчера, могут проникнуть в хаос, запеть бесконечный гимн и начертать себе былые судьбы вселенной в виде вспять обращенного Апокалипсиса. Созерцая это жуткое воскрешение, совершаемое голосом одного-единственного человека, мы проникаемся жалостью к той крохе, которая нам предоставлена в безыменной бесконечности, общей всем сферам, проникаемся жалостью к этой минуте жизни, которую мы именуем *время*. Как бы погребенные под обломками стольких вселенных, мы вопрошаем себя: к чему наша слава, наша ненависть, наша любовь? Если нам суждено стать в будущем неосязаемой точкой, стоит ли принимать на себя бремя бытия? И вот, вырванные из почвы нашего времени, мы перестаем жить, пока не войдет лакей и не скажет: «Графиня приказала передать, что она ждет вас».

При виде чудес, явивших молодому человеку весь ведомый нам мир, душа его изнемогла, как изнемогает душа у философа, когда он занят научным рассмотрением мира неведомого; сильнее, чем когда бы то ни было, хотелось ему теперь умереть, и он упал в курульное кресло²⁴, предоставив своим взорам блуждать по фантазмагориям этой панорамы прошлого. Картины озарились, головы дев ему улыбнулись, статуи приняли обманчивую окраску жизни. Втянутые в пляску тою лихорадочною тревогой, которая, точно хмель, бродила в его больном мозгу, эти произведения под покровом тени ожили, зашевелились и вихрем понеслись перед ним; каждый фарфоровый уродец строил ему гримасу, у людей, изображенных на картинах, веки опустились, чтобы дать отдохнуть глазам. Все эти фигуры вздрогнули, вскочили, сошли со своих мест – кто грузно, кто легко, кто грациозно, кто неуклюже, в зависимости от своего нрава, свойства и строения. То был некий таинственный шабаш, достойный тех чудес, что видел доктор Фауст на Брокене. Но эти оптические явления, порожденные усталостью, напряжением взгляда или причудливостью сумерек, не могли устроить незнакомца. Ужасы жизни были не властны над душой, свыкшейся с ужасами смерти. Он скорее даже поощрял своим насмешливым сочувствием нелепые странности этого нравственного гальванизма, чудеса которого соединились с последними мыслями, еще поддерживавшими в незнакомце ощущение бытия. Вокруг него царил столь глубокое молчание, что вскоре он осмелился отдаться сладостным мечтам, образы которых постепенно темнели, магически изменяя свои оттенки по мере угасания дня. Свет, покидая небо, зажег в борьбе с ночью последний красноватый отблеск; молодой человек поднял голову и увидел слабо освещенный скелет, который с сомнением качнул своим черепом справа налево, как бы говоря: «Мертвецы тебя еще не ждут». Проведя рукой по лбу, чтобы отогнать сон, молодой человек отчетливо ощутил прохладное дуновение, что-то пушистое коснулось его щеки, и он вздрогнул. Чуть слышным звоном отозвались стекла, и он подумал, что эта холодная, пахнувшая могильными тайнами ласка исходила от летучей мыши. Еще одно мгновение при расплывающихся отблесках заката он неясно различал окружавшие его призраки; затем весь этот натюрморт был поглощен сплошным мраком. Ночь – час, назначенный им для смерти, – наступила внезапно. После этого в течение некоторого времени он совершенно не воспринимал ничего земного – потому ли, что погрузился в глубокое раздумье, потому ли, что на него напала сонливость, вызванная утомлением и роением мыслей,

²⁴ В курульных креслах восседали в Риме высшие должностные лица.

раздиравших ему сердце. Вдруг ему почудилось, что некий грозный голос окликнул его, и он вздрогнул, как если бы среди горячего кошмара его бросили в пропасть. Он закрыл глаза: лучи яркого света ослепляли его; он видел, как где-то во мраке загорелся красноватый круг, в центре которого находился какой-то старичок, стоявший с лампою в руке и направлявший на него свет. Не слышно было, как он вошел; он молчал и не двигался. В его появлении было нечто магическое. Даже самый бесстрашный человек, и тот, наверное, вздрогнул бы со сна при виде этого старичка, вышедшего, казалось, из соседнего саркофага. Необычайный молодой блеск, оживлявший неподвижные глаза у этого подобия призрака, исключал мысль о каком-нибудь сверхъестественном явлении; все же в тот краткий промежуток, что отделил сомнамбулическую жизнь от жизни реальной, наш незнакомец оставался в состоянии философского сомнения, предписываемого Декартом, и помимо воли подпал под власть неизъяснимых галлюцинаций, тайны которых либо отвергает наша гордыня, либо тщетно изучает беспомощная наша наука.

Представьте себе сухонького, худенького старичка, облаченного в черный бархатный халат, перехваченный толстым шелковым шнуром. На голове у него была бархатная ермолка, тоже черная, из-под которой с обеих сторон выбивались длинные седые пряди; она облегла череп, резкой линией окаймляя лоб. Халат окутывал тело наподобие просторного савана – видно было только лицо, узкое и бледное. Если бы не костлявая, похожая на палку, обернутую в материю, рука, которую старик вытянул, направляя на молодого человека весь свет лампы, можно было бы подумать, что это лицо повисло в воздухе. Борода с проседью, подстриженная клинышком, скрывала подбородок этого странного существа, придавая ему сходство с теми еврейскими головами, которыми как натурой пользуются художники, когда хотят изобразить Моисея. Губы были столь бесцветны, столь тонки, что лишь при особом внимании можно было различить линию рта на его белом лице. Высокий морщинистый лоб, щеки, поблекшие и впалые, неумолимая строгость маленьких зеленых глаз, лишенных бровей и ресниц, – все это могло внушить незнакомцу мысль, что вышел из рамы Взвешиватель золота, созданный Герардом Доу. Коварство инквизитора, избличаемое морщинами, которые бороздили его щеки и лучами расходились у глаз, свидетельствовало о глубоком знании жизни. Казалось, человек этот обладает даром угадывать мысли самых скрытных людей и обмануть его невозможно. Знакомство с нравами всех народов земного шара и вся их мудрость сосредоточивались в его холодной душе, подобно тому, как произведениями целого мира были завалены пыльные залы его лавки. Вы прочли бы на его лице ясное спокойствие всевидящего Бога или же горделивую мощь все видевшего человека. Живописец, придав ему соответствующее выражение двумя взмахами кисти, мог бы обратить это лицо в прекрасный образ предвечного отца или же в глумливую маску Мефистофеля, ибо на его лбу запечатлелась возвышенная мощь, а на устах – зловещая насмешка. Обратив в прах при помощи своей огромной власти все муки человеческие, он, по-видимому, убил и земные радости. Умиравший вздрогнул, почувствовав, что этот старый гений обитает в сферах, чуждых миру, и живет там один, не радуясь, ибо у него нет больше иллюзий, не скорбя, ибо он уже не ведает наслаждений. Старик стоял неподвижный, непоколебимый, как звезда, окруженная светлою мглой. Его зеленые глаза, исполненные какого-то спокойного лукавства, казалось, освещали мир душевный, так же как его лампа светила в этом таинственном кабинете.

Таково было странное зрелище, захватившее врасплох молодого человека – убаюканного было мыслями о смерти и причудливыми образами – в тот момент, когда он открыл глаза. Если он был ошеломлен, если он поверил в этот призрак не рассуждая, как ребенок нянькиным сказкам, то это заблуждение следует приписать тому покрову, который простерли над его жизнью и рассудком мрачные мысли, раздражение взбудораженных нервов, жестокая драма, сцены которой только что доставили ему мучительное наслаждение, сходное с тем, какое заключено в опиуме. Это видение было ему в Париже, на набережной Вольтера, в XIX веке – в таком месте

и в такое время, когда магия невозможна. Находясь по соседству с тем домом, где скончался бог французского неверия²⁵, будучи учеником Гей-Люссака²⁶ и Араго, презирая все фокусы, прodelьваемые людьми, стоящими у власти, незнакомец, очевидно, поддался обаянию поэзии, которому все мы часто поддаемся как бы для того, чтобы избежать горьких истин, приводящих в отчаяние, и бросить вызов всемогуществу Божию. Итак, волнуемый необъяснимыми предчувствиями какой-то необычайной власти, он вздрогнул при виде этого света, при виде этого старика; волнение его было похоже на то, какое мы все испытывали перед Наполеоном, какое мы вообще испытываем в присутствии великого человека, блистающего гением и облеченного славою.

– Вам угодно видеть изображение Иисуса Христа кисти Рафаэля? – учтиво спросил его старик; в звучности его внятного, отчетливого голоса было нечто металлическое.

Он поставил лампу на обломок колонны так, что темный ящик был освещен со всех сторон.

Стоило купцу произнести священные имена Иисуса Христа и Рафаэля, как молодой человек всем своим видом невольно выразил любопытство, чего старик, без сомнения, и ожидал, потому что он тотчас же надавил пружину. Вслед за тем створка красного дерева бесшумно скользнула в выемку, открыв полотно восхищенному взору незнакомца. При виде этого бессмертного творения он забыл все диковины лавки, капризы своего сна, вновь стал человеком, признал в старике земное существо, вполне живое, нисколько не фантастическое, вновь стал жить в мире реальном. Благостная нежность, тихая ясность Божественного лика тотчас же подействовали на него. Некое благоухание пролилось с небес, рассеивая те адские муки, которые жгли его до мозга костей. Голова Спасителя, казалось, выступала из мрака, переданного черным фоном; ореол лучей сиял вокруг его волос, от которых как будто и исходил этот свет; его чело, каждая черточка его лица исполнены были красноречивой убедительности, изливавшейся потоками. Алые губы как будто только что произнесли слово жизни, и зритель искал его отзвука в воздухе, допытываясь его священного смысла, вслушивался в тишину, вопрошал о нем грядущее, обретал его в уроках минувшего. Евангелие передавалось спокойной простотой божественных очей, в которых искали себе прибежища смятенные души. Словом, всю католическую религию можно было прочесть в кроткой и прекрасной улыбке, выражавшей, казалось, то изречение, к которому она, эта религия, сводится: «Любите друг друга!» Картина вдохновляла на молитву, учила прощению, заглушала себялюбие, пробуждала все уснувшие добродетели. Обладая преимуществами, свойственными очарованию музыки, это произведение Рафаэля подчиняло вас властным чарам воспоминаний, и торжество было полным – о художнике вы забывали. Впечатление этого чуда еще усиливалось очарованием света: мгновениями казалось, что голова движется вдали, среди облака.

– Я дал за это полотно столько золотых монет, сколько на нем уместилось, – холодно сказал торговец.

– Ну что ж, значит – смерть! – воскликнул молодой человек, пробуждаясь от мечтаний. Слова старика вернули его к роковому жребию, и путем неуловимых выводов он спустился с высот последней надежды, за которую было хватился.

– Ага! Недаром ты мне показался подозрительным, – проговорил старик, схватив обе руки молодого человека и, как в тисках, сжимая ему запястья одной рукой.

Незнакомец печально улыбнулся этому недоразумению и сказал кротким голосом:

²⁵ *Бог французского неверия* – Вольтер, боровшийся в своих сочинениях с католической церковью, которую именовал «гадиной». Дом, в котором он умер в 1778 году, располагался (и располагается до сих пор) на набережной, которая в то время называлась набережной Малаке; ее западный конец (который иногда называли также набережной Театинцев, по названию находившегося на ней монастыря) получил имя Вольтера в 1791 году.

²⁶ Жозеф-Луи *Гей-Люссак* (1778–1850) – французский химик и физик; Доминик-Франсуа *Араго* (1786–1853) – французский физик.

– Не бойтесь, речь идет о моей смерти, а не о вашей... Почему бы мне не сознаться в невинном обмане? – продолжал он, взглянув на обеспокоенного старика. – До наступления ночи, когда я могу утопиться, не привлекая внимания толпы, я пришел взглянуть на ваши богатства. Кто не простил бы этого последнего наслаждения ученому и поэту?

Недоверчиво слушая мнимого покупателя, торговец окинул пронзительным взглядом его угрюмое лицо. Успокоенный искренним тоном его печальных речей или, быть может, прочитав в его поблекших чертах зловещие знаки его участи, при виде которых незадолго перед тем вздрогнули игроки, он отпустил его руки; однако подозрительность, свидетельствующая о житейском опыте, по меньшей мере столетнем, не совсем его оставила: небрежно протянув руку к поставцу, как будто только для того чтобы на него опереться, он вынул оттуда стилет и сказал:

– Вы, вероятно, года три служите сверх штата в казначействе и все еще не на жалованье? Незнакомец не мог удержаться от улыбки и отрицательно покачал головой.

– Ваш отец чересчур грубо попрекал вас тем, что вы появились на свет? А может быть, вы потеряли честь?

– Если бы я согласен был потерять честь, я бы не расставался с жизнью.

– Вас освистали в театре Фюнамбуль²⁷? Вы принуждены сочинять куплеты, чтобы заплатить за похороны вашей любовницы? А может быть, вас томит неутоленная страсть к золоту? Или вы желаете победить скуку? Словом, какое заблуждение толкает вас на смерть?

– Не ищите объяснений среди тех будничных причин, которыми объясняется большинство самоубийств. Чтобы избавить себя от обязанности открывать вам неслыханные мучения, которые трудно передать словами, скажу лишь, что я впал в глубочайшую, гнуснейшую, унижительную нищету. Я не собираюсь вымалывать ни помощи, ни утешений, – добавил он с дикой гордостью, противоречившей его предшествующим словам.

– Хэ-хэ! – Эти два слога, произнесенные стариком вместо ответа, напоминали звук трещотки. Затем он продолжал: – Не принуждая вас взывать ко мне, не заставляя вас краснеть, не подавая вам ни французского сантима, ни левантского парата, ни сицилийского тарена, ни немецкого геллера, ни русской копейки, ни шотландского фартинга, ни единого сестерция и обола мира древнего, ни единого пиастра нового мира, не предлагая вам ничего ни золотом, ни серебром, ни медью, ни бумажками, ни билетами, я хочу вас сделать богаче, могущественнее, влиятельнее любого конституционного монарха.

Молодой человек подумал, что перед ним старик, впавший в детство; ошеломленный, он не знал, что ответить.

– Оглянитесь, – сказал торговец и, схватив вдруг лампу, направил ее свет на стену, противоположную той, на которой висела картина. – Посмотрите на эту шагреновую кожу, – добавил он.

Молодой человек вскочил с места и с некоторым удивлением обнаружил над своим креслом висевший на стене лоскут шагрени, не больше лисьей шкурки; по необъяснимой на первый взгляд причине кожа эта среди глубокого мрака, царившего в лавке, испускала лучи, столь блестящие, что можно было принять ее за маленькую комету. Юноша с недоверием приблизился к тому, что выдавалось за талисман, способный предохранить его от несчастий, и рассмеялся в душе. Однако, движимый вполне законным любопытством, он наклонился, чтобы рассмотреть кожу со всех сторон, и открыл естественную причину ее странного блеска. Черная зернистая поверхность шагрени была так тщательно отполирована и отшлифована, прихотливые прожилки на ней были столь чисты и отчетливы, что, подобно фасеткам граната, каждая выпуклость этой восточной кожи бросала пучок ярких отраженных лучей. Математи-

²⁷ «Фюнамбуль» (Канатоходцы) – театр на бульваре Тампля в Париже, в репертуар которого входили фарсы и пантомимы для невзыскательной публики.

чески точно определив причину этого явления, он изложил ее старику, но тот вместо ответа хитро улыбнулся. Эта улыбка превосходства навела молодого ученого на мысль, что он является жертвой шарлатанства. Он не хотел уносить с собой в могилу лишнюю загадку и, как ребенок, который спешит разгадать секрет своей новой игрушки, быстро перевернул кожу.

– Ага! – воскликнул он. – Тут оттиск печати, которую на Востоке называют Соломоновой²⁸.

– Вам она известна? – спросил торговец, два-три раза выпустив из ноздрей воздух и передав этим больше мыслей, чем мог бы высказать самыми выразительными словами.

– Какой простак поверит этой химере? – воскликнул молодой человек, задетый немым и полным ехидного издевательства смехом старика. – Разве вы не знаете, что лишь суеверия Востока приписывают нечто священное мистической форме и лживым знакам этой эмблемы, будто бы наделенной сказочным могуществом? Укорять меня в данном случае в наивности у вас не больше оснований, чем если бы речь шла о сфинксах и грифах, существование которых в мифологическом смысле до некоторой степени допускается.

– Раз вы востоковед, – продолжал старик, – то, может быть, прочтете это изречение?

Он поднес лампу к самому талисману, который изнанкою сверху держал молодой человек, и обратил его внимание на знаки, оттиснутые на клеточной ткани этой чудесной кожи так, точно они своим существованием были обязаны тому животному, которое некогда облекала кожа.

– Должен сознаться, – заметил незнакомец, – я не могу объяснить, каким образом ухитрились так глубоко оттиснуть эти буквы на коже онагра.

И он живо обернулся к столам, заваленным редкостями, как бы ища что-то глазами.

– Что вам нужно? – спросил старик.

– Какой-нибудь инструмент, чтобы надрезать шагрень и выяснить, оттиснуты эти буквы или же вделаны.

Старик подал незнакомцу стилет, – тот взял его и попытался надрезать кожу в том месте, где были начертаны буквы; но когда он снял тонкий слой кожи, буквы вновь появились, столь отчетливые и до того похожие на те, которые были оттиснуты на поверхности, что на мгновение ему показалось, будто кожа и не срезана.

– Левантские мастера владеют секретами, известными только им одним, – сказал он, с каким-то беспокойством взглянув на восточное изречение.

– Да, – отозвался старик, – лучше все валить на людей, чем на Бога.

Таинственные слова были расположены в таком порядке:

²⁸ Жозеф-Луи Гей-Люссак (1778–1850) – французский химик и физик; Доминик-Франсуа Араго (1786–1853) – французский физик.

لرملكتنى ملكت الكل
ولكن عمرك ملكى
واراه الله هكذا
اطلب وستننال مطالبك
ولكن قسن مطالبك على عمرك
وهى هامننا
فبكل مرارك لستسزول ايامك
أتريد نى
الله مجيبك
آمين

Что означало:

Обладая мною, ты будешь обладать всем,
но жизнь твоя будет принадлежать мне.
Так угодно Богу. Желай – и желания твои будут исполнены.
Но соразмеряй свои желания
со своей жизнью. Она – здесь.
При каждом желании я буду
убывать, как твои дни.
Хочешь владеть мною?
Бери. Бог тебя
услышит.
Да будет
так!

– А вы бегло читаете по-санскритски²⁹! – сказал старик. – Верно, побывали в Персии или же в Бенгалии?

– Нет, – отвечал молодой человек, с любопытством ощупывая эту символическую и очень странную кожу, совершенно негибкую, даже несколько напоминавшую металлическую пластинку.

Старый антиквар опять поставил лампу на колонну и бросил на молодого человека взгляд, полный холодной иронии и как бы говоривший: «Вот он уже и не думает умирать!»

²⁹ ...по-санскритски... – На самом деле надпись воспроизведена на арабском; в первых изданиях присутствовал только ее французский текст; в 1835 году в Вене Бальзак познакомился с немецким востоковедом Хаммером-Пургсталем, и тот перевел надпись – но не на санскрит, а на арабский. Арабский текст впервые опубликован в издании 1838 года; при этом убрать упоминание санскрита Бальзак забыл.

– Это шутка? Или тайна? – спросил молодой незнакомец.

Старик покачал головой и серьезным тоном сказал:

– Не знаю, что вам ответить. Грозную силу, даруемую этим талисманом, я предлагал людям более энергичным, нежели вы, но, посмеявшись над загадочным влиянием, какое она должна была бы оказать на их судьбу, никто, однако ж, не захотел рискнуть заключить договор, столь роковым образом предлагаемый неведомой мне властью. Я с ними согласен, – я усомнился, воздержался и...

– И даже не пробовали? – прервал его молодой человек.

– Пробовать! – воскликнул старик. – Если бы вы стояли на Вандомской колонне³⁰, попробовали бы вы броситься вниз? Можно ли остановить течение жизни? Делил ли кто-нибудь смерть на доли? Прежде чем войти в этот кабинет, вы приняли решение покончить с собой, но вдруг вас начинает занимать эта тайна и отвлекает от мысли о смерти. Дитя! Разве любой ваш день не предложит вам загадки, более занимательной, чем эта? Послушайте, что я вам скажу. Я видел распутный двор регента³¹. Как вы, я был тогда в нищете, я просил милостыню; тем не менее я дожил до ста двух лет и стал миллионером; несчастье одарило меня богатством, невежество научило меня. Сейчас я вам в кратких словах открою великую тайну человеческой жизни. Человек истощает себя безотчетными поступками, – из-за них-то и иссякают источники его бытия. Все формы этих двух причин смерти сводятся к двум глаголам *желать* и *мочь*. Между этими двумя пределами человеческой деятельности находится иная формула, коей обладают мудрецы, и ей обязан я счастьем моим и долголетием. *Желать* сжигает нас, а *мочь* – разрушает, но *знать* дает нашему слабому организму возможность вечно пребывать в спокойном состоянии. Итак, желание, или хотение, во мне мертво, убито мыслью; действие или могущество свелось к удовлетворению требований моего организма. Коротко говоря, я сосредоточил свою жизнь не в сердце, которое может быть разбито, не в ощущениях, которые при-тупляются, но в мозгу, который не изнашивается и переживает все. Излишества не коснулись ни моей души, ни тела. Меж тем я обзрел весь мир. Нога моя ступала по высочайшим горам Азии и Америки, я изучил все человеческие языки, я жил при всяких правительствах. Я ссужал деньги китайцу, взяв в залог труп его отца, я спал в палатке араба, доверившись его слову, я подписывал контракты во всех европейских столицах и без боязни оставлял свое золото в вигваме дикарей; словом, я добился всего, ибо умел всем пренебречь. Моим единственным честолюбием было – видеть. Видеть – не значит ли это знать?.. А знать, молодой человек, – не значит ли это наслаждаться интуитивно? Не значит ли это открывать самую сущность жизни и глубоко проникать в нее? Что остается от материального обладания? Только идея. Судите же, как прекрасна должна быть жизнь человека, который, будучи способен запечатлеть в своей мысли все реальности, переносит источники счастья в свою душу и извлекает из них множество идеальных наслаждений, очистив их от всей земной скверны. Мысль – это ключ ко всем сокровищницам, она одаряет вас всеми радостями скупца, но без его забот. И вот я парил над миром, наслаждения мои всегда были радостями духовными. Мои пиршества заключались в созерцании морей, народов, лесов, гор. Я все созерцал, но спокойно, не зная усталости; я никогда ничего не желал, я только ожидал. Я прогуливался по вселенной, как по собственному саду. То, что люди зовут печалью, любовью, честолюбием, превратностями, огорчениями, – все это для меня лишь мысли, превращаемые мною в мечтания; вместо того чтобы их ощущать, я их выражаю, я их истолковываю; вместо того чтобы позволить им пожирать мою жизнь, я драматизирую их, я их развиваю; я забавляюсь ими, как будто это романы, которые я читаю внутренним своим зрением. Я никогда не утомляю своего организма и потому все еще отличаюсь

³⁰ Высота Вандомской колонны в Париже 44 метра.

³¹ ...распутный двор регента. – Загадочный старик наделен удивительным долголетием: отличавшаяся чрезвычайной распущенностью нравов эпоха, когда регентом при малолетнем Людовике XV был герцог Филипп II Орлеанский, пришлась на 1715–1723 годы, то есть окончилась больше, чем за сто лет до времени действия «Шагреновой кожи» (1830–1831).

крепким здоровьем. Так как моя душа унаследовала все не растроченные мною силы, то моя голова богаче моих складов. Вот где, – сказал он, ударяя себя по лбу, – вот где настоящие миллионы! Я провожу свои дни восхитительно: мои глаза умеют видеть былое; я воскрешаю целые страны, картины разных местностей, виды океана, прекрасные образы истории. У меня есть воображаемый сераль, где я обладаю всеми женщинами, которые мне не принадлежали. Часто я снова вижу ваши войны, ваши революции и размышляю о них. О, как же предпочесть лихорадочное, мимолетное восхищение каким-нибудь телом, более или менее цветущим, формами, более или менее округлыми, как же предпочесть крушение всех ваших обманчивых надежд – высокой способности создавать вселенную в своей душе; беспредельному наслаждению двигаться без опутывающих уз времени, без помех пространства; наслаждению – все объять, все видеть, наклониться над краем мира, чтобы вопрошать другие сферы, чтобы внимать Богу? Здесь, – громовым голосом воскликнул он, указывая на шагреновую кожу, – *мочь*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.